

КРАЙ

...близок страшный суд...

Гоголь

Надька Арцикова развелась со своим мужем еще осенью, и к моменту, когда его парализовало, они уже три месяца были в разводе. Надьке часто говорили, что это ее счастье, потому что иначе ей пришлось бы за ним ходить, а это черт знает какое занятие для красивой длинноногой женщины с мягкими лодыжками - выносить горшки из-под немолодого человека, которого ненавидишь. Арциковы продолжали делить двухкомнатную квартиру на Измайловском. Знаете, в том доме над гастрономом. Но Надька никогда не заходила к мужу в комнату и вообще старалась о нем не думать, просто выкинуть его из головы, больного или здорового, и жить своей жизнью. Все-таки легче было, когда он лежал в госпитале. Тогда она могла запереть его комнату на засов, и люди, которые приходили к ней потолкаться, могли говорить и чувствовать себя намного свободнее. Но Надька знала от его родственников, что состояние его становилось все хуже, и выписывали его, в основном, чтобы он не занимал койки в больнице и себе тихонечко умирал дома. Для больного наняли сиделку - медицинскую сестру из соседней поликлиники, грубую, крикливую женщину без возраста. Надьку это не касалось - да она только и мечтала своего бывшего мужа никогда не видеть и не встречаться с ним глазами.

То, что было еще недавно большим сильным мужчиной, как-то свернулось и съежилось на кровати. Болезнь застала ее мужа посреди полного здоровья: почему-то ему стало тяжело вставать и подниматься по лестнице. А сейчас, когда прошел уже год, он был почти обездвижен, и только кисти рук с продолговатыми нервными пальцами и глаза двигались так же, как раньше. Надька даже голоса его давно уже не слышала: привыкла, что для нее его не существует на свете, и не очень-то из-за этого убивалась.

В восемь часов вечера сиделка, позевывая, уходила и оставляла больного одного в темной комнате на ночь. Спрашивала обычно, оставить ли ему на ночь свет, но он ничего внятного не отвечал. Он никогда никого не звал. Даже малейшего шума не было слышно из его комнаты, где из мебели оставалась только кровать, на которой его привезли из госпиталя, пара стульев, горшки и шкаф.

У Надьки происходил тогда хронический роман с Ленькой Сафронниковым, но когда Ленька заикался одним словечком о женитьбе, Надька только насмешливо поднимала пальчик и говорила, что на всю оставшуюся жизнь этого уже накушалась. И говорила еще "ни-ни". Хотя, может быть, если бы ей удалось забеременеть, то она ничего бы не стала делать: спокойненько завела бы себе ребенка, и, наверное, Леньку не стала бы выдерживать на такой дистанции. Но пока ей хватало, что она живет независимой жизнью красивой молодой женщины, от которой балдеют мужчины. И ни в какие глубокие чувства она

старалась особенно не вдаваться.

Но и сама Надька, и мужики, которых немало к ней в то время наведывалось, наверняка сильно бы удивились, если бы узнали, что этот полутруп, который заживо сгнивал за стеной и о котором не хотелось даже вспоминать, жил довольно-таки активной жизнью. Более того, эта жизнь прямо касалась и Надьки, и всех тех, кто пользовался ее благосклонностью, или просто оставался ночевать в ее комнате на полу. Например, по причине постылой жизни, от которой помогает близость женщин, не зараженных морализмом. Пожалуй, единственным человеком, который мог что-то подозревать или знать, была крашенная сиделка, но это была настоящая хамка, и Надька ни в какие разговоры с ней старалась не вступать. Если бы вы зашли в комнату, которую занимал Надькин муж, то и отвлечшись от кислого запаха, вы не сразу бы разглядели под простыней лежащего желтого человека с одутловатым лицом и плоскими ногами. Лицо его распухло от гормонов, которыми его в немилосердных дозах пичкали. И щелки, оставшиеся от желтых тигриных глаз, были обычно напряженно закрыты. Он молча лежал весь день. Когда сиделки не было в комнате, он смотрел в окно, на стену с бессмысленными розовыми цветочками. Но как только становилось темно, и он, наконец, мог остаться один, в его полусумасшедшем мозгу начиналась жизнь, последний островок света, связывающий его со счастливым миром людей. Голые оконные стекла наливались лиловыми каплями дождя. Или их заносило снегом. Вот так день за днем, неделя за неделей зловещей реальности, которую было не с кем делить. Ближе к ночи смятое тело под простыней начинало шевелиться, и не сразу можно было догадаться, что это были не просто бесформенные подергивания. Эти конвульсии были подчинены какому-то подлому плану - подталкивая себя тонкими кистями рук, пытаясь подтянуть себя за вожжи, привязанные к эмалированной спинке кровати, больной укладывал себя вдоль стены. Это стоило ему бесконечных усилий - передвинуться и подставить к уху граненый стакан, в которых продают газировку, и слушать, что происходит в комнате у женщины, мать которой говорила своим знакомым, что хватит, девочка от него натерпелась - пусть себе сдыхает, весь мир от этого станет только счастливее, будь он трижды проклят.

Уже прошли сотни дней, как он был проклят и лежал на спине. Сначала он еще мог садиться и свободнее перемещаться в постели - его держали в разных больницах, но отовсюду отвозили домой. А за стеной была эта не повзрослевшая девочка, которая раньше была его женщиной и приходилась ему женой. И часто она бывала за стеной не одна, а ему казалось, что она не одна всегда. Эта странная девочка с родинкой на носу, как у смешного породистого щенка. Породистый щенок приехал поступать в педагогический институт из северного города Архангельска, и во время своей первой сессии это ароматное создание со смешной родинкой на носу вышло за него замуж.

Больной теперь часто лежал, вдавив ухо в стакан из-под газировки, и молча

плакал. От этого лицо его становилось нечеловеческим, жалким и отечным. Тогда он был двадцатью годами ее старше. Он всегда был двадцатью годами ее старше. Разница между ними была больше, чем ее семнадцать с половиной лет. Арциков, глядя на стену с цветочками, в который уже раз вычислял, в котором году разница между их возрастами и её собственный возраст сравнялись. И что именно в этот час имело происходить. Или вспоминал, как они ездили за разрешением на брак к Надькиной матери, которую больной называл "мамашей". Мамаша проживала в Архангельске и была всего лишь на год Арцикова моложе, потому что ему было тридцать семь лет, а ей неполных бальзаковских тридцать шесть. Они провели втроем три томительных дня, которые он просидел в Надькиной комнате на ее узенькой постели, читал там Аркадия Гайдара, автора, который всегда делал его оголенным и беззащитным, и другие Надькины школьные книжки. Это прямо можно удивляться, сколько по жизни шляется проходимцев, еще и похуже Арцикова, у которых от "Тимура и его команды" на глаза наворачиваются слезы! Надька бегала по квартире, встречала гостей, делала вместе с улыбающейся матерью на кухне винегреты и забегала в комнату только на одну секундочку, поцеловать его перед сном. А он выходил из комнаты только к столу, а ночью ворочался на ее жесткой коечке. Он ревновал ее ко всему. К одноклассникам, с которыми она прощалась на лестнице, к какому-то олуху курсанту железнодорожного училища, приехавшему домой на каникулы. К этому идиотскому щемящему набору книг с этажерки, к ее школьной форме, к чулкам в резиночку, к тому, что он не женился на ней, когда ей было двенадцать, после первых месячных, что не он снимал с нее своей рукой нарукавники и передник. Он уже тогда любил ее самой мучительной любовью, пытаясь стать с нею вдвоем одной плотью или уничтожить ее. Один только раз с большой неохотой вышел он с ней из дома, на какую-то деревянную улицу. Улица называлась именем революционного героя с бабьим именем, и, примерзая к холодному сиденью кожаным плащом не по погоде, Арциков доехал с Надькой на трамвае до занесенной снегом Соломбалы. Они отвозили ее старой тете ливерную колбасу, чтобы кормить собак на кладбище.

Если вы не жили на Севере, то вы не очень представляете себе, как мало там солнца, нереальна жизнь и запоздалы женщины. Любая восьмилетняя южанка знает больше о жизни мужчин и женщин, чем знала к семнадцати годам Надежда. К черту, им нужно позже давать паспорта, этим мягким уроженкам северных городков, которые в семнадцать лет решают стать учительницами. Им нельзя еще замуж за европейцев. Сейчас Надька носит короткую стрижку, а тогда у нее была густая коса, но не рыжего, а какого-то пепельного цвета, синие глазки, большой подвижный рот и нежнейшая на свете грудь с бесстыдными розовыми сосками. Там было отчего сойти с ума мужчине тридцати семи лет! Надо сказать, что и для самого Арцикова эта встреча тоже была опасной: у мужчины к этим годам накапливается целый ряд сомнительных сексуальных

привычек, и встреча, так сказать, с Аркадием Гайдаром может привести к любым неожиданным катастрофам. То, чего Арциков ждал от Надьки, даже не лежало на оси сексуальных свобод или понятий, означающих отношения голых людей, имеющих от рождения разные половые признаки, - сферы нашей жизни, хоть и приятной, но уже порядком всем поднадоевшей. Мне кажется, что впервые в жизни он нашел идиотку, которая ему доверяла и к тому же еще ничегошеньки не боялась, и решил дойти с ней до конца. Знаете, путник, держась одной рукой за линию горизонта, пробивает небесную твердь и вертит шей, чтобы узнать, что там может быть дальше. Или он решил с Надькой расширить границы своих жизней или своих тел - разные суррогаты бессмертия, за которые мы цепляемся. Я даже не могу представить себе точно, как же Арциков объяснял это себе словами. Но начиналось все с того, что он прятался в Надькиной комнате от ее матери, на которой ему, наверное, и следовало бы жениться, и тогда бы жизнь его пошла без этих проклятий и без этих рыжих вожжей, за которые он подтягивался зубами. Жениться на Надькиной матери, возненавидевшей его в конце концов, а тогда подтрунивавшей над его мальчишеской ревностью и вручающей ему насовсем свою единственную дочь. И тайне готовой вместо дочери вручить себя: Арциков говорил, что каждую ночь боялся, что она может заявиться. Но кого интересует, на что может быть готова женщина в тридцать шесть лет, скупающая в Архангельске!

А эта инфантильная идиотка, ее дочь Надя, приняла все за чистую монету и провалилась как в должное во все, что ей предлагали - в маниакального сладострастника - спекулянта любовью. Провалилась во всех посторонних в Надькиной жизни людей, с которыми он ее знакомил, в посторонних мужчин, в подозрительные истории, называемые любовными. Во все темные углы нашего петербургского клоповника и пауков, питающихся свежей кровью. А начиналось все очень мило: они держались за ручки, и Арциков искренне поверял ей детали своих душевных тайн и самых тонких ощущений.

Все-таки мы все слишком серьезно относимся к женщинам: какие у них могут быть ощущения, кроме тех, которые мы сами же проецируем? Оказалось, что у этой пропасти нет конца. Если ты добиваешься целую жизнь, чтобы твоя любимая не сдерживала своих подспудных реакций на лиц мужского пола, то ее можно постепенно превратить в полупрофессиональную шлюху с какой-то дикой смесью северной чистоты и порочного тела, так и не ставшего до конца женским.

Много воды утекло с тех семнадцати с половиной лет, когда они просто сидели по вечерам, нежно касаясь друг друга локтями, и это еще долго было самой откровенной лаской, которую он мог себе позволить. Потому что можно было сладко не торопиться. И на разращение каждой клеточки ее души еще оставалась впереди вся жизнь, которую можно было теперь дослушивать через стакан.

Под утро больной проваливался в сон. Темнота была думать о Надьке или

слушать любые звуки, которые доносились из ее комнаты. Слушать, как она принимает душ или сушит волосы. Как она глухо смеется и постанывает во сне. И не во сне. Когда пришла болезнь, Арциков был еще уверенным в себе субъектом без седых волос. У него даже зубы были все своими, от мамы. А сейчас у него не работали ноги. И вместо ягодиц было два пустых мешка. Не таких, как тряпичные футбольные шары, которые катают деревенские мальчишки. А похожих на грибы-домовики, которые растут в наших лесах. Притронешься - пых и нету. Так что даже дотрагиваться до своих ног Арцикову было страшно.

А днем приходила эта кургузая сволочь, медицинская сестра. Приходила подкладывать под него судно и отвязывать пожухлый член от стеклянной посуды. И убирать непотребности, в которых он лежал на фоне своих возвышенных мыслей. Прижималась к его лицу и пересохшему рту своей неприятной грудью в белом халате, так что он начинал буквально задыхаться, хотя после бессонных ночей он даже ждал, когда его будут касаться эти груди сала с запахом процедурного кабинета, пота и дешевых женских духов "Дубок". И он с нетерпением ждал эту толстую дрянь, а по ночам караулил Надьку. Иногда он думал о Боге, но неряшливо, заплетающимся во рту языком, потому что ни раскаяния, ни стыда, ни страха у него не было. Он думал, что если Бог есть, то два раза не накажут. И хорошо представлял себе Божий суд, на котором уже не накажут. Фразы, которые складывались в мозгу, были все путаннее и менее четки. Что "жизни нет, не хочу кощунствовать экстаза раз" и тому подобная чепуха. Что было, если говорить таким же языком, не очень понятного в жизни смысла. Он ждал, что лучше бы совсем отказал язык и отказали глаза, чтобы скорее можно было бы совсем забыться. Язык отказывал, но веры не было. Была прибитость вора. А веры не было, потому что не было чем верить. Только оставалась память, что есть Бог и почему-то с Арциковым должны обратиться справедливо. А религиям он никогда не доверял и думал, что играть в марципанового Бога для него хуже и даже чем-то чревато. Тем более, что Бога вокруг на земле оставалось все меньше. И в церквях пахло смертью.

Выздороветь Арциков давно надеяться перестал. Сначала ему казалось, что на гормонах начала просыпаться какая-то мышца. Но нет. Ничего. Только мертвое тело зябло на костях. А Надька была не одна. У больного застыла перед глазами ее фотография, которую она ему подарила, - босая Надька с шариком в руке, она стояла в раздумье на ковре, подвернув на носке одну ногу. Такая у нее была привычка - подворачивать одну ногу на носке. Жест, от которого он всегда заходил от страсти. Еще он любил смотреть, как Надька подает руку. Как подает руку мужчинам. Она много чего научилась делать в нашем городе, что ему нравилось наблюдать и чего я совершенно не собираюсь в этом рассказе касаться. Еще он сходил с ума, когда она возвращалась к нему с виноватыми заплаканными глазами. Или начинала врать, понимая, что он это чувствует. Теперь он за все это платил, потому что Надька давала дома уроки языка и

выходила из дому редко, а ночью с кем-то спала, и теперь ему уже было не сладко, а непереносимо это знать и слышать. Но он слушал, и ничего не мог с собой поделать, и другой жизни в запасе у него уже не было. Пока он надеялся, что может выздороветь, он еще мог думать, что потом вызовет кого-нибудь на дуэль, хотя дуэлей давно уже нигде не было. Даже на шпагах в двадцатом веке никто не дрался. Да и что за дуэль на шпагах! Пустят себе кровяц и поедут довольные, как слоны, есть домой курятину. И потом ему уже нечем было драться: он мог только взять в зубы вожжи, которыми он подтягивал себя к спинке кровати, и ими подавиться. Или перестать принимать преднизолон и без гормонов через сутки сдохнуть. И было грешно жаловаться, потому что он сам ее развращал и развратил, потому что ему интересно было и сладко, и ему хотелось узнать, есть ли граница, а до этой границы все никак было не дойти. А когда он спохватился, то им обоим было уже не остановиться.

Потом он уже перестал думать про курятину. Но продолжал прислушиваться к тому, что происходит за стеной.

Надька по ночам ходила в ванну. Хмыкала или отвечала, хлопала входной дверью. Она могла за ночь только сказать одно слово или ничего не говорить вовсе. Арциков совсем мало стал есть. И только жидкую пищу. Когда он меньше съедал за день, он чувствовал себя независимее. От десяти таблеток преднизолона в день морда стала толстой, как у смеси еврея с татаринком. Язык лишь с трудом ворочался во рту, да и не было нужды разговаривать с этой нескладной бабой, медсестрихой, пихающей ему в рот пропахший дешевыми духами вонючий белый халат.

Перед тем, как его укладывали в госпиталь в последний раз, ему стало казаться, что он уже умер, но началась боль в суставах, которую было ничем не снять. А потом боль прошла, и он стал видеть плесень. Три месяца кряду. Плесень начинала расти в темноте. Вечером ее было не остановить. Серебряные лишайные пятна. Пальцы ног были в плесени, и покрывало, и граненый стакан, через который он слушал свою растленную жену Надьку. Через пятно плесени он слышал, как она торопливо дышит за стеной. И тогда он понял, что это только начало расплаты и конца ей не будет. Это был знак расплаты за все, что он сделал с Надькой. За то, что она была сломанным подростком и спала с сильными мужчинами. И снова возвращалась к нему. И уже сама хотела спать с другими и снова возвращаться к нему. И он понял, что тяжесть этой плесени ему в одиночку не снести, потому что тяжести ее не было предела. И он понял, что покоя теперь никогда не будет и Божий суд страшен. И ему стало страшно. Он даже еще не думал о спасении, просто он был умным человеком, и ему стало страшно. Он понял, что если с ним будут обращаться по правилам и судить его, то Божьего суда ему не выдержать. И думать, что выдержать Божий суд может, или только очень самонадеянный человек, или дурак из тех миллиардов недодуш и обрубков, которыми заселен мир.

И тогда он вспомнил слова, случайно застрявшие уже лет тридцать в его мозгу, к

которым он никогда не возвращался и их не вспоминал. Он понял, зачем приходил Христос.

И, вспомнив, он сломал свою гордость и бороться за жизнь перестал, просто свалил на Христа все свои грехи - все, которые он совершил, еще совершит и совершает сейчас.

Ему стало легче, и пришло знание, что суда не будет, и что нужно только дожить в этом плоском теле, а после этого он будет с Христом. Что нужно только, как в детстве, не уставать искать спасения и признаться Богу, что человек над собой не властен.

Он продолжал ползать по вечерам к стенке, объясняя вслух, что ничего не может с собой поделать. Постепенно больной успокоился. Может, даже впервые в жизни почувствовал себя счастливым. Его только тревожило, что женщине, которая была за стеной и переплетала с кем-то свое такое любимое тело, он уже ничего не мог объяснить. И не мог позвать ее, да она и не стала бы его слушать. И была, оставалась надежда, что ей это сможет объяснить какой-нибудь другой человек, знающий правду.

Его охватило одиночество с Богом, которое известно только верующему человеку. Человеку, которого прожгло догадкой, что Земля, на которой мы сегодня находимся, Богом до срока оставлена.

Плесень больше не росла. И можно было слушать, как Надька шепчется за стеной с молодыми кобельками, и ждать, когда тебя самого отсюда возьмут.

"Ненавижу быть беременной..." и после тихо. Обои отклеиваются. Клопы, Господи, на что оставил ты мне уши это слышать? Что она кому-то это лепечет, только бы не молчала. Всегда говорит она одна. Она водит к себе глухонемых. Или они меня боятся, болотный призрак, а мне, мне было бы решительно все равно. Ну скажи что-нибудь голосом, б.,б., мне им не наестся, холодильник отвратительно жужжит, скорее бы умереть и не слышать это жужжание во веки веков, скажи, Надь, что-нибудь, произнеси что-нибудь. Найдет ли красно солнышко, кого в постель принять, высокий дуб развесистый совсем один стоял, скажи, Надь. Ненавижу тишину, скажи, моя сладкая, что ты еще ненавидишь. Хорошо еще, Господи, что она вообще еще жива ненавидеть и дрожать там за стеной. Что она там выделяет, чего бы я не знал. Ревнив, как сто отелл. Отелло с уткой на бинте. Бинт мой, да я не мой. Настолько уж не мой, что на могильной плите не знаешь что писать, что живешь меланхоличен, как дымчатая кошка, подвязанный к стеклянной посуде за член. И Надюшу мою кто-то там мучает за стенкой, а я ее уже не видел как год. Мстит, если б не обо мне, то ясно, что мстит. Не мстила бы - зашла, поправить сбившуюся простынку с простреленной груди. И я бы ее, суку, выгнал, чтобы не плакать. Оба калеки. Пусть она теперь после меня кем-нибудь насытится. Дьяволом только теперь, сыт-сыта. А в одном чану сыта... какая-то похлебка, не вспомнить, что люди

едят перед тем, как возлечь в постель. Макароны, мне уже не проглотить макароны. Что ты глотаешь, Надежда, перед тем как начинаешь калечить своих любовников, перекалечь их всех, какие есть на свете - пусть чувствуют себя мужчинами со вздернутыми бездарными членами, наевшимися макарон. Я не ревную, я гнию. Спит. Два слова за вечер, "надо было, надо было", меня в гробу будет преследовать этот мотив. Остается упиваться тем, что она жива и может обнимать ногами лицо мужского пола. Эх, Надюшенька, мой свет. Господь, ты один знаешь, да я знаю, что за сокровище ты мне дал. Что не враз испортишь, даже я не смог. Противнее всего, что я без нее совсем не могу. Если бы только люблю. Господи, возьми меня уже, б., отсюда скорее. Всё сыт твоими похлебками. Язык мешает глотать. Не нужно меня больше стыдить, возьми меня к себе в ангелы небесные. Размеров там у вас, наверное, нет. Всё равно представляешь себе размерности. Возьми меня, Господи, поскорее. Ты у меня все уже отнял, или дьявол отнял. Или ты дьяволу дал отнять. Только что и оставил, что голосом ее любоваться, за стеной. Доктор, я буду жить? Жить-то, говорит, будешь, но всё остальное, говорит, не будешь! Вот такие дела. Макароны не проглотить. Каких-то дегенератов к себе приводит и спит. Что они там с ней делают? Ничего не слышно, кого хочет пусть водит, только бы не молчала. Может, и она тоже уже не женского пола, как я не мужского. Никакого. Ангельского пола. Может, она к себе баб водит? Хорошее бы развлечение мне перед смертью. Вряд ли баб! Бабы бормотали бы, не умолкая. Господи боже мой, какая пустота, иду, Господи, к тебе и нет ущерба в вере. Просто я устал, ты меня, б., не наказывай за мысли и за то, что я, как таракан, на ее голос ползу. Спаси ее, Господи, раз уж меня спас. Не пропусти ее вниманием своим, она такая чистая. Это я, б..., своим гнусным, толстым языком говорю Тебе, Господи. Её никакими тоннами похоти не испачкать... это моё Тебе свидетельство. Это авторитетное свидетельство - человека с определенной репутацией. Надьку спасут, и мы с ней встретимся ангелами. Здравствуй, б., Надька ангельского пола. Похоже, что уже на сегодня всё. Надька спит. Что за видения у нее в мозгу? Неужели любовь в мире тоже от дьявола? Очень неожиданно. И переплетаться с Надюшкиными бархатными бедрами - от дьявола, и лютики - цветочки от него. Лютики, может быть, и не от него. Лютики, может, еще Бог насадил, но любовь моя бархатная - это, конечно, не лютики. Кто-то ходит, на пятом этаже. Чего они не спят? Это из трампарка Блохина домой вернулась. Трампарк Блохина тоже от сатаны, все от сатаны, вот и вся разгадка. Господь протянет руку и отсюда выхватит. Проваливаюсь. Может быть, я тоже спал вместе с милой. Заочно. Чепуха, я неплохо пожил. Но если все от сатаны, то все равно как жить, лишь бы отсюда поскорей забрали. Как же это ангелом жить и не спать с женщинами? Это не сразу еще привыкнешь. Спать уже хочу. Спи, Наденька, спи, рыбочка. Плохо я тобой распорядился. Ты уж прости меня, если сможешь. Что завтра за день? Четверг. В пятницу она встает поздно, значит можно спать. Её не проспишь. Смешнее всего, что я хочу сейчас, чтобы она меня любила. Неужели она меня забыла? День прошел. Я твой засыпаю,

Господи. Мышцы только перестали сокращаться. Вот так, Господи. Трудно быть богом. Вот лежит перед тобою бог, как ты, с высыхающим телом. Бог с полимиозитом. Всё хорошо, Господи, все распрекрасно, только ноги сохнут и телом своим рабски не владею, а все равно грешу. Потому что не властен. Хочу слышать, как женщина, которую ты мне, Господи, дал, чтобы быть с ней одной плотью, распаляется и спит с другой плотью. Вот за этой стеной с цветочками, в метре от меня. Голова гудит. Господи, забери меня скорей отсюда. Только Надьку тоже возьми. Она дура примитивная, она сама ничего понять не сможет, но она тоже твой человек. Она захочет спастись, наверняка захочет. Зря я так долго тебя испытывал, а нужно было сразу сдаться. Устал я играть с собою в игры. Тебе ли говорить, Господи, что это не я? Эти тридцать кило усыхающего тела - это не я. И спасибо, что ты меня довел до этой мертвечины без гордости, прежде чем позволил сдаться. Только Надьку до тридцати килограммов не доводи, я не хочу, чтобы кто-нибудь ее такой видел. Прости меня, Господи. Я уже ничего не стесняюсь, Господи, ничего не осталось. Всё, что было во мне мужского, Ты всё забрал.

Дверь хлопнула. Моя любимая пошла в ванную. От стакана все гудит, прокляты мои уши.

Господи, я любил женщин, а теперь остается мне полдня жизни и корявая сука, которая меня ходит прибирать, так и ее жду. Хочешь, крикну тебе ПРОСТИ, но ты ведь и так знаешь, что мне край.

Здравствуй, мой Бог. Это я во грешной плоти, которую ты создал в один из дней своих, когда ты создавал небо и землю и женщин с бархатными бедрами из ребра. Аминь.